



## Алексей МАКУШИНСКИЙ

📍 Висбаден, Германия



Фото: Елена Волленвебер

Родился в 1960-м в Москве. В Германии с 1992-го.

Поэт, прозаик, историк литературы, доцент кафедры славистики университета Майнца.

Автор романов «Макс», «Город в долине», «Пароход в Аргентину», «Остановленный мир», «Один человек», книг стихов «Свет за деревьями», «Море, сегодня», книги эссе «У пирамиды», книги «Предместья мысли».

Новый роман «Димитрий» выходит в издательстве *Freedom Letters*. Большой фрагмент из него и интервью с автором публикуются в журнале «Знамя» (№ 8, 2023).

Лауреат премии «Глобус» журнала «Знамя» и Библиотеки иностранной литературы. Участник шорт-листа премии им. А. Пятигорского. Дважды финалист премии «Большая книга». Лауреат первого приза «Русской премии» (2015).

## Буква М

Фрагменты из книги фрагментов

*М*

Давным-давно, среди ночи проснувшись, я подумал, как много важных слов моей жизни начинается на букву «м»: *море, мост, мир, миг, маска и музыка*, – и сколько имён, сколько названий: *Макс, Марк, Москва, Мюнхен, Монтевидео*. Монтевидео я приписал для красоты; читатель меня простит. Я начал составлять список этих слов; потом, несколько лет, к каждому из них понемногу подключались – сами собою – разные *мысли* (тоже на «м», тоже на «М»); иногда по несколько *мыслей* к одному слову (на «м»). Разумеется, есть и другие восхитительные буквы в алфавите: например, буква «т» (*тишина, трагедия, трескучий мороз*), или буква «у» (*упадок, ужин, урод, урожай, Уругвай*); но ведь, говорят, *мастерство* (на «м», опять-таки) – это самоограничение, *мудрость* (на «м») – тоже самоограничение. Ни на то, ни на другое не претендую, но буквой «м» пока ограничусь – а там будет видно».

## Мысль

Мысль начинается вдруг. Мысль вдруг тебя настигает. Это вдруг случается снова и снова, не утрачивая, с годами, своей неожиданности. В какой-то точке бесконечно быстро бегущего, бесконечно медленно текущего времени – вдруг. Из этих вдруг, этих точек, складывается наша мысль, моя мысль, моя очень личная мысль. Сказать, что из них складывается моя жизнь? Смотря, что называть так. Иногда я думаю, что эти мгновения мысли выпадают из жизни, отрицают её, отрывают меня от неё. Мысль не есть функция жизни. Мысль есть против-жизнь, анти-жизнь, преодоление жизни. А иногда я думаю, наоборот, что это-то и есть жизнь, только это и более ничего. Только эти краткие, всегда краткие, эти хрупкие, всегда хрупкие, мгновения ясности, совпадения с собою – только они и есть жизнь, всё прочее – видимость, кажимость, иллюзия, навязчивый сон.

## Мыслитель, мечтатель

От природы я, конечно, мечтатель, а всю жизнь хочу быть мыслителем. Получается плохо.

### Мандельштам

Было время, когда я видел его во сне. Он являлся мне в разных образах и обликах, под разными масками, но я всегда знал, что это он, Мандельштам, самый лучший, самый любимый. Однажды он был ветром, кажется – Аквилон. И мгновенный ритм – только случай, неожиданный Аквилон. Так часто повторял я эти строки, что Аквилон стал мне сниться. Мне было примерно столько же лет отроду, сколько было ему, когда он написал это. Лет девятнадцать, и даже, наверное, ещё меньше – семнадцать. Никогда не надеялся я написать что-то подобное, что-то сравнимое. Как можно писать стихи, если есть этот Аквилон, эта игрушечная чаща, это ненужное я? Я потому, может быть, и бросил писать стихи в молодости, что не надеялся сравняться с Аквилоном. Ужасно страдал от этого. В другой раз он мне явился каким-то китайским драконом, совсем не страшным, скорей добродушным, вместе с облаками кружившимся над осенней, золотой и багряной землёю, словно выбирая место, поляну или прогалину, где бы ему захотелось побыть и помедлить. Я думаю, Мандельштаму бы это понравилось. Он был уже старый. Старик застенчивый, как мальчик. Дракон, а всё-таки человек. С развевающейся по ветру, седой, узкой бородакою, как у Лао-цзы, у Конфуция. А ведь он умер всего-то сорокасемилетним. Вот это – теперь я думаю – всего труднее себе представить. Проще представить себе добродушного дракона, кружащегося над золотой землёй, багряной листвой.

### Мгновения ясности

Каждая новая ясность отменяет все предыдущие.

### Мораль

Религия вообще не нужна, нужна общечеловеческая мораль, объявил недавно – кто? – Далай-лама. За долгую жизнь он пришёл к выводу, что религия вообще не нужна, а нужна общечеловеческая мораль. Как это замечательно – из уст Далай-ламы.

### Майорка

Ещё одна церковь, ещё одна ратуша. Ещё одна площадь перед ратушей, перед церковью. Всё это уже было. Зато каждый камень и каждая ракушка, подобранные на берегу моря, приближают к пониманию чего-то важнейшего.

### Мёртвые глаза

Проститутка с мёртвыми глазами, в Париже. Красивая, но в глазах всё убито. Такая красивая, что дыхание перехватывает. А глаза всё-таки мёртвые, страшные.

## Манн и Набоков

Набоков, как известно, терпеть не мог Томаса Манна, а Томас Манн скорее всего даже и не слышал о Набокове. Между тем в их судьбах так много общего, что невольно начинаешь думать о какой-то *превышающей человека* иронии... Посудите сами, как говаривали когда-то. Томас Манн, кстати, знал это русское выражение. Рассказывая о своём несостоявшемся – из-за Первой мировой войны – путешествии в Россию, воображает он, как бы это было здорово, как бы он там ел пироги, закусывал водку (Schnaps) солёными грибами (eingemachte Pilze) и пил чай с помоями Гоголя – он называет почему-то Леонида Андреева, Сологуба и Кузмина, – и как бы они говорили ему: «Помилосердствуйте, батенька!» (Erbarmen Sie sich, Väterchen!) или «Посудите сами, Фома Генрихович!» (Urteilen Sie doch selbst, Foma Genrichowitsch!). Смешно и мило, что скажешь. Всё-таки, когда иностранцы пишут о России, кич где-то рядом, развесистая клюква растёт за углом. Так и видишь Сологуба, говорящего Томасу Манну «батенька» под дружный хохот Кузмина и Андреева.

И тем не менее – посудите сами, помилосердствуйте. Первая книга принесла успех и Фоме Генриховичу, и Владимиру Владимировичу, но это были ещё не совсем их книги: не совсем Набоков, не окончательный Томас Манн. Набоков, когда впоследствии дарил свои сочинения кому-нибудь, рисовал на фронтисписе бабочку, и только на фронтисписе «Машеньки» – куколку. «Будденброки», в Германии едва ли не самый популярный его роман, тоже ещё куколка, ещё из девятнадцатого века – уже Томас Манн, но ещё немного Теодор Фонтане, немного Эдуард фон Кейзерлинг (замечательный, кстати, писатель, в России почти неизвестный, да и в Германии слишком недооценённый). «Будденброки» потому-то, может быть, и пользуются такой популярностью, что они ещё чуть-чуть похожи – только похожи – на ту «просто прозу», которую так любит «обычный читатель». Однако и со второй книги оба автора ещё не совсем начинаются. Вторая книга у обоих – почти провальная (признаем уж правду). Кто читает, кто перечитывает теперь «Королевское высочество», «Король, дама, валет»? Обратим, уж кстати, внимание на созвучие заголовков. Читать это ещё возможно, перечитывать уже, пожалуй, нет. По-настоящему и всерьёз и Томас Манн, и Набоков начинаются позже, после первой, замечательной, ещё не совсем их собственной, и второй книги, явно написанной, чтобы как-то заполнить паузу между этой первой – и всеми прочими, уже несомненно томас-манновскими, безусловно набоковскими.

Оба жили в Германии, потом бежали от нацизма в Америку, потом из Америки вернулись в Европу, причём оба в Швейцарию: Томас Манн – в собственную виллу (он вообще любил строить виллы) на Цюрихском озере, Набоков – в дворцовообразный (потому и называвшийся Montreux Palace) отель на Женевском. У Набокова в детстве и юности была, конечно, Россия (его потерянный рай), но рисунок их взрослой жизни почти совпадает. Набоков родился миллионером, Томас Манн женился на дочке миллионера. Оба не были евреями, но имели жён-евреек, с поразительно созвучными именами – Катя и Вера: два хорей (хочется сказать: две хорейки). Обе жёны-хорейки, похожие даже внешне, особенно в юности, были решительные, умные, острые на язык дамы,

водили машину, возили на машине мужей (в автомобильном смысле несостоятельных). Обе занимались их литературными и другими делами, отвечали за их связи с внешним миром, оберегали их от этого внешнего мира, отвечали на телефонные звонки, спроваживали не угодных им посетителей. Катя родила своему мужу целых шесть (несчастных) детей, Вера одного Дмитрия (не знаю уж, да и неважно, насколько несчастного). Во всяком случае, и там, и там был добропорядочный, долгий, «на всю жизнь» брак, прикрывавший их тайны и бездны, их скелеты в шкафу, впрочем, скорее гипотетические, платонические. Набоков, судя по всему, не спал с «нимфетками», сочинил, однако, «Лолиту». Томас Манн бесконечно влюблялся в «полячков» (по презрительному выражению Бунина) и не-полячков, в каких-то молоденьких официантов, даже приглашал их погостить у него дома, но дальше писания «Смерти в Венеции» дело всё-таки, тоже – судя по всему, не шло. (И это тоже их популярнейшие – и, на мой вкус, противнейшие сочинения... нет, не подумайте, у меня нет вообще никаких предрасудков, и уж в очереди на роль моралиста я стою последним, а книги всё равно какие-то противные, ничего не могу поделать).

Оба – и Набоков, и Томас Манн – в своей среде, в своей литературе – фигуры центральные, на которые равняются, которым завидуют (бедного Газданова до сих пор сравнивают с Набоковым – самого Набокова не сравнивают ни с кем; бедный Роберт Музиль даже имени соперника не мог слышать, сразу приходил в бешенство, а тот писал о Музиле и для Музиля благородные, бесполезные, равнодушно-рекомендательные письма – ему-то что, Томасу Манну? от него не убудет, – приводившие ядовитого австрияка в ещё большее бешенство). Им всё удалось, короче. У них даже «кризисов» и провалов вроде бы не было. Как начали писать, так и писали книгу за книгой. Про некоторые из этих книг думаешь, что, может быть, лучше было бы для их авторов, если бы время, потраченное на эти книги, они потратили на небольшой «кризис», карманную катастрофу. Катастрофы и кризисы иногда, не всегда, идут на пользу писательству... Оба, боюсь, прокляли бы меня на всю литературную вечность за это сравнение их друг с другом.

## Между прочим

Между прочим, Бунин, в своё время вдохновившийся заглавием «Смерть в Венеции» на сочинение «Господина из Сан-Франциско» – именно заглавием, не самой новеллой: саму новеллу он прочитал, по его словам, уже после и нашёл её «очень неприятной», – встретился с Томасом Манном уже в эмиграции, в Париже, в 1926-м, когда тот, Томас Манн, приезжал на несколько дней в прекрасную Лютецию в порядке примирения бывших заклятых врагов, так недавно переставших травить друг друга газом.

По горячим следам написанный и тут же опубликованный отчёт Томаса Манна об этой поездке – он так и называется «Парижский отчёт», *Pariser Rechenschaft* – по-русски, кажется, не издавался и уж войти в знаменитый десяти томник 1960 года у него точно никаких шансов не было: слишком много там говорится о Мережковском, о Шмелёве и о Шестове. Увы, это худший Томас Манн, сочавшийся самовлюбленностью. Его отчёт выглядит как светская хроника, как мексиканский сериал. Сплошные приёмы, фраки, гостиные, графини, графы, знамени-

сти, торжественные обеды, речи, встречи, аплодисменты, устрицы, шампанское, завтрак в одном кафе, самом модном и дорогом, обед в другом ресторане, модней и дороже уж некуда. Все лестные отзывы о нём самом, Томасе Манне, переданы в мельчайших подробностях, до последней запятой, с фальшиво-скромными оговорками – или даже без оговорок. Вообще, писатель как представитель (*Repräsentant*: излюбленное словечко Т. М.), неважно уж, что именно он представляет – свою страну, свою эпоху, свою (не могу обойтись без кавычек) «культуру», свой (ещё ужасней) «народ», – писатель во фраке, писатель в мундире, ни на минуту, ни на минуточку, даже, поди, в уборной, не забывающий о своей высокой миссии, своём служении чему-то-там, – не просто так себе писака, а то, что по-немецки называется *Großschriftsteller*, обладатель огромного письменного стола и собственной виллы, – писатель как общественная институция, каждый чих и наморк которой становится всемирно-историческим событием, – всё это у нас, циников, скептиков, анархистов и бунтарей, вызывает только смех, смех, смех.

Всё равно это написано замечательно: даже худший Томас Манн писал замечательно. Бывают, правда, непроизвольно комические моменты, например, когда он приходит в гости к Шестову (решив, по-видимому, отдохнуть хоть пару часов от устриц и ливрейных лакеев), где его встретили «почти буквально с распростёртыми объятиями», по-русски, *à la russe*, очень сердечно. И самого хозяина немедленно объявляет он «исключительно русским» (*außerordentlich russisch*). Шестов, значит, то бишь, как мы понимаем, Лев Исаакович Шварцман, – *außerordentlich russisch*? Ну, ладно, пусть будет так. И почему же он *außerordentlich russisch*? Потому что он бородатый, широкий, *bärtig und breit* (Шестов – широкий? что-то, судя по портретам, не верится), а также потому что он восторженный (*enthusiastisch*), ласковый (*zutunlich*), душевный (*herzensgut*) и вообще (добавляет Т. М., видимо, чувствуя, что переборщил и потому начиная к р и л я т ь с я) «человечный» («*mähnschlich*»). И вся атмосфера была исключительно русская: щедрая, детская, великолепно-добродушная, не без лёгкого привкуса дикости. Крепкий чай, папиросы. В общем всё, как надо, с развесистой клюквой в кадке. К сожалению, из присутствующих он называет только Бунина, хотя в двух комнатах было полно людей, так что мы до сих пор не знаем, кто были эти широкие (опять широкие) русские (*breite Russen*), бородатые или длиноволосые (какая всё же экзотика для немецкого *Großschriftsteller'a*), среди которых он провёл пару часов, беседуя о судьбах Европы, России, свободы; и Наталья Баранова-Шестова, дочь философа, в своей биографии отца упоминающая эту встречу, не знает, кто там ещё присутствовал; мы знаем только, что Томас Манн сидел рядом с Буниным, о котором он отзывается с равнодушным восхищением и который, судя по всему, был с ним не слишком вежлив, отчего и показался неразговорчивым, погружённым в себя, уставшим от дежурных похвал «Господину из Сан-Франциско», желавшим, чтобы хвалили «Митину любовь» (что, похоже, и было исполнено).

Соль анекдота не в этом. И вот такой человек, пишет Т. М., носитель несравненной эпической традиции и культуры своей страны, теперь там, в своей стране, считается контрреволюционером, врагом пролетариата, политическим преступником – и вынужден бежать оттуда, и хорошо ещё, что сумел

убежать. «Здесь я чувствую симпатию, солидарность – что-то вроде возможного товарищества (Eine Art von Eventualkameradschaft: Томас Манн тоже писал на языке своего собственного изобретения). У нас в Германии дело ещё не дошло до того, чтобы писатель, подобный Бунину, был вынужден отряхнуть с ног своих прах отечества и питаться хлебом Запада (так и сказано: das Brot des Westens). Но я нисколько не сомневаюсь, что при соответствующих обстоятельствах разделю его судьбу». А я нисколько не сомневаюсь, что «соответствующие обстоятельства» в контексте 1926 года означают пролетарскую революцию в Германии, вкус которой он имел возможность почувствовать восьмью годами ранее, тем более что жил в Мюнхене, столице «Красной Баварии». Но какова всё же сила предвидения... Пройдёт ещё восемь лет, и Томасу Манну в самом деле, как всем известно, придётся разделить судьбу своих «исключительно русских» собеседников 1926 года, с поправкой на цвет безумия, решившего стать коричневым. Впрочем, и в эмиграцию он уедет в мундире Großschriftsteller'a; не снимет его, похоже, до последнего вздоха в Швейцарии.

### Мизантропия

Во мне нет к людям ненависти – зимой. Она появляется только летом, когда окна открыты. Летом я ненавижу людей – источник шума. Прав, прав был Шопенгауэр (вообще – душка), утверждавший, что терпимость к шуму обратно пропорциональна уровню интеллекта. Поскольку же уровень интеллекта у большинства людей не высок, то вот они всё говорят, голосят, кричат, вопят, ещё и музыку, гады, *врубают*, на моё безутешное горе.

### Магазин Мёртвых Мыслей

Добро пожаловать в наш Магазин Мёртвых Мыслей. Вот, не желаете ли взглянуть, платоновские идеи, они же эйдосы, ходовой товар, отдаём за полцены. Платиновское Единое, оно же соловьёвское Всеединство, ну тут придётся поторговаться. Вещь уж больно тяжёлая, на одну упаковку уйдёт состояние. А не желаете ли Провидение? Отличная штука, ручной работы, с инкрустациями, остатками позолоты? Нет, не нравится? Так, может, Царство Божие? Совсем недорого, не прогадаете. Подумайте, мы вас не торопим. Что ж, нет, значит, нет. Проходите дальше, осторожно – порог. Не ударьтесь о притолоку. Прогресс, История, Нация, Революция, прошу, всё для вас! Может быть, Равенство? Или желаете Братство? Общность Жён? Простите, но Общность Жён – в соседнем здании. Как выйдете, сразу налево. Кланяйтесь бандерше, Madame Utopie. Всего доброго, сударь, заходите снова, всегда будем вам рады.

### Меланхолия

Меланхолия как естественное моё состояние. Несчастье как естественное моё – не только моё – состояние. Непрерывность и неизбежность несчастья как единственного соприродного мне – не только мне – ощущения жизни. Мы думаем – странно даже – смешно, в сущности, – что несчастье – это временно и как бы ненормально, что надо сделать то-то и то-то, изменить то и это – и даже если счастье не наступит, то хотя бы несчастье закончится. А казалось бы, опыт всей жиз-

ни должен был бы убедить нас в прямо противоположном. Человек несчастен вообще и в принципе, человек как таковой, с самого рождения до самой смерти. Счастье – исключение, несчастье – правило. Это понимал уже Будда, в европейской философии это лучше всех – острее всех – осознал, наверное, Шопенгауэр (за что мы его и любим; не только за это; но в том числе и за это). Откуда оно, это основополагающее несчастье человеческого существования? Вот вопрос, который мы задаём себе вновь и вновь; под утро, на исходе бессонной ночи задаём тем более, тем больше. Оно – от раздвоенности, от зазора между собой и собою? То есть оно – от сознания? Сознание уже само по себе – «несчастное сознание»? Или есть какие-то другие истоки несчастья? Иногда кажется, что даже – без сознания, даже – бессознательное, телесное, природное в нас – страдает. «Вся тварь стенает доселе». Страдание в глазах животных, в глазах собак. «Древо жизни подрублено под корень», как писала Рахиль Беспалова Бенжамену Фондану (а я цитировал в «Предместьях мысли»; и если вы этих драгоценных имён не знаете, если и «Предместья мысли» не читали, то я ничем вам помочь не могу). То есть дело не в яблоке. До всякого грехопадения рай был не рай, «старые книги ошибаются». В Эдемском саду тоже была тощица – иначе зачем было яблоко есть? Это возможно, если бог – злой. Бог был злой, рай был узилищем (стена, запреты, колючая проволока; того не делай, туда не ходи). Поедание яблока было великим актом освобождения, но счастливым оно не сделало никого. Несчастье раздвоенности, несчастье сознания присовокупилось к исконному несчастью цельности, несчастью бытия как такового. Всё равно назад пути нет. К простому и тёмному страданию бытия возвратиться уже не получится. А пути вообще нет. Пути нет, выхода нет, спасения ждать неоткуда. Вот мысли, приходящие в голову атеисту на исходе ночи бессоннейшей, беспросветной.

### Монтень

В 1572 году Монтень начинает писать свои «Опыты», а Иван Грозный отменяет опричнину. Первые две книги «Опытов» опубликованы в 1580 году, Иван Грозный умирает в 1584-м. Царевича Димитрия убили в Угличе в 1591-м, Монтень умер в 1592-м. Современники.

### Молчание

Слова возникают из молчания. Нужно домолчаться до слов. Слова и фразы чего-то хотят, куда-то идут, бывает, что и ведут. Молчание бесцельно, свободно. Оно никуда не ведёт, никуда не идёт. Оно сразу всё уже здесь... Всегда восхищало меня одно маленькое, вроде бы не очень приметное стихотворение Рильке:

Schweigen. Wer inniger schwieg,  
rührt an die Wurzeln der Rede.  
Einmal wird ihm dann jede  
erwachsene Silbe zum Sieg:

über das, was im Schweigen nicht schweigt,  
über das höhnische Böse;  
daß es sich spurlos löse,  
ward ihm das Wort gezeigt.

Стихи переводу не поддаются. Молчание. Тот, кто молчит в самом деле, от всей души и всем сердцем, тот прикасается к корням речи... Для прикоснувшегося к корням речи каждый слог когда-нибудь будет — победой. Победой — над чем же? Победой над тем, что в молчании не молчит, над насмешливым злом... Чтобы это зло исчезло без следа, и было ему — молчащему, домолчавшемуся — показано, ему дано — слово.

Я хорошо знаю это молчание, я, можно сказать, с ним дружу. Это молчание мистиков, молчание исихастов, «громоподобное молчание Будды». Надо так молчать, так глубоко, безоглядно и беззаветно, всем нутром и всей своей сутью, чтобы возникающие из молчания слова могли стать победой — над чем же, ещё раз? То, что в молчании не молчит, то и в речи не говорит. Это и есть зло, насмешливое или не очень насмешливое. Не темнота — и не свет, не пустота — и не полнота, не отсутствие — но всё же и не присутствие. То, что как будто есть, и то, чего как бы нет... Это и есть «мир» — или «мэон», мир неподлинности (*Uneigentlichkeit*, которую Гейдеггер справедливо провозгласил первичной по отношению к возможной подлинности, *Eigentlichkeit*), мир всемства (*das Man*), мир болтовни (*Gerede*), мир отчуждения, отчуждённый от себя мир, заросший сорняками случайных слов, не-слов, недо-слов, несущихся из всех радио- и телеточек, из всяческого фейсбука и всевозможного твиттера. Но что значит «победа»? *Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles*, заканчивает тот же Рильке один из двух своих «Реквиемов»: в отличие от маленького стихотворения, приведённого в начале, строчки как раз вполне себе знаменитые. В переводе Пастернака: «Не до побед. Всё дело в одоленье»; перевод очень вольный (мягко скажем): речь идёт не о победе — но и не о каком-то «одоленье» (в чём, собственно, разница?), но о том, чтобы — выстоять (*überstehen*). Вообще, победа (*Sieg*) — слово не из рильковского лексикона. «Он ждёт, чтоб высшее начало его всё чаще побеждало, чтобы расти ему в ответ», как, на сей раз — необыкновенно удачно — удачно? потрясающе! — перевёл Пастернак другое стихотворение, из «Книги образов» (*sein Wachstum ist: der Tiefbesiegte von immer Größerem zu sein*). Наше скромное восьмистишие говорит всё-таки о победе, причём о победе будущей. *Einmal*, когда-нибудь... Это скорее обещание чего-то несбыточно: почти, если угодно, эсхатология (столь милая сердцу Бердяева). В контексте мира победить мир невозможно. Насмешливое «мэоническое» зло в этом мире без следа не исчезнет. Но есть — *horribile dictu* — другой мир, не тот *задний мир*, *Hinterwelt* — мир невидимого по ту сторону зримого, мир платоновских эйдосов или христианских ангелов, святых, мадонн, великомучеников и прочих мощей, — о котором после Ницше говорить всерьёз невозможно (хотя, разумеется, говорят и ещё как говорят), но мир самих слов, вышедших, выросших (*erwachsene Silbe*, буквально: выросший слог) из молчания. В контексте мира это никакая не победа, конечно: мир всегда продолжается во всём своём безумии, в своём отчуждении, своей псевдобытийности; никакие слова не преображают его. Не преображают, но разрывают. Слова разрывают мир. Мысль разрывает мир. Само молчание разрывает мир. Мир этого не видит, не чувствует. Мир себя мнит сплошным. Но он не сплошной, он весь в прорехах, весь в дырках.

## Миф

Когда все мифы отброшены, все веры потеряны, остаётся вера в судьбу. В какую-то судьбу верят все; принимают свою судьбу; спорят со своей судьбой. Но я и эту веру утратил. Нет никакой судьбы. Есть случайные стечения бессмысленных обстоятельств. Поэтому я свободен. И поэтому я не пытаюсь сделать картинку из своей жизни, сгладить углы, спрятать противоречия, внушить кому бы то ни было — тем более: себе самому, — что всё в моей жизни соответствовало какому-то — если не высшему, то хоть моему собственному — замыслу, что всё было *так*, было правильно. Нет, в ней почти всё было не *так*, почти всё неправильно. Жизнь — это пасьянс, который никогда не сойдётся; крестословица, в которой всегда остаются пустые клетки. Я свободен; я признаю свои поражения; я не боюсь говорить об одиночестве, об отчаянии, о неудачах, о несбытании надежд. В этом моя гордость, моя доблесть.

## Метро

В Париже мокрый снег, пронзительный холод. В длинном коридоре метро, на окраинной станции, клошары, молча, распуская вокруг себя свой собственный страшный запах, затхлый запах бездомности, резкими, сильными, но всё равно неловкими вздёргами красных рук, срывают со стен рекламные афиши, огромные плотные листы, лежащие в итоге по всему коридору, так что приходится или на них наступать, или через них перепрыгивать. Зачем они это делают? Чтобы ими потом укрыться? А кажется, что просто так, из желания что-нибудь порвать, порушить, из отвращения к миру, из ярости, ненависти.

## Монстры

Каких монстров носите вы в душе? — Мои монстры, сударь, вас не касаются. У меня свои монстры, у вас свои. Мои монстры пострашнее будут ваших-то монстров.

## Медуза Горгона

В Турции, в конце 90-х. Банальный отпуск где-то в Анталии; но невозможно ведь лежать целыми днями на пляже. Начинаешь искать развлечений; возникает тема экскурсий, каких-то, прости, Господи, «джип-сафари». Для всего этого потребно туристическое бюро. В туристическом бюро плотно сидел молодой турок, бурно уса́тый, каким турку и полагается быть, весёлый, с осмысленно смеющимися глазами, с золотым толстым перстнем на волосатом пальце. Сперва всё получилось у него (пресловутое «джип-сафари»), потом не получилось, автобус (на котором мы должны были ехать в Сиде) так за нами и не пришёл. — Но мы ведь всё равно друзья? — спросил он, когда на другой день мы зашли в его застеклённый закуток. — Конечно, мы всё равно друзья. Мы и вправду с ним подружились; заходили к нему просто так: поболтать, попить крепчайшего чёрного чая из обжигающих пальцы стеклянных стаканчиков с осиною талией. Вам обязательно нужно поехать... вот не могу теперь вспомнить, куда он предлагал нам поехать, но что-то было там, связанное с Медузой Горгоной,

какой-то грот, какой-то утёс. Вы знаете Медузу Горгону? Мы знали Медузу Горгону. Он всё-таки решил уточнить. Говорят, на кого она посмотрит, тот сразу превращается в камень... Мы кивали: конечно, мол, как же? Он взял долгую паузу, потом объявил внушительно и с достоинством: *но я не верю*.

## Мифы, снова

На кого посмотрит Медуза Горгона, тот сразу же превращается в камень. Но я не верю, торжественно объявил турок. И я не верю. Не верю, и никогда не мог поверить ни во что из этого: ни в Медузу Горгону, ни в Святую Троицу, ни в воскресение из мёртвых, ни в подвиги Геракла, ни в Леду, ни в лебедя. И я не только не верю во всё это, но я совершенно не верю тем, кто верит. Они врут, а не верят. Потому что нельзя в это верить. Они врут себе. А лож пахнет дурно. А вот вы или чувствуете или не чувствуете, заходя в церковь, этот запах лжи, запах ладана и обмана, и если вы не чувствуете его, то ничем вам уже не поможешь.

## Мореплаватель

Просто выбросить за борт религию, мифологию, богов, судьбу и все эти сказки. Наконец, ты капитан своего корабля. Можешь плыть, куда хочешь. Если потонешь, то потому что сам виноват. Или потому что – буря, в которой никто не виноват. Буря просто буря, она никем не послана и ничего не *значит*. Наконец, ты свободен.

## Малком Перселл Маклин

Конвейер и контейнер – два изобретения, преобразившие мир. Первый конвейер был пущен в 1913 году, первый рейс контейнерного корабля датируется 26 апреля 1956 года. 1956 год, переломный год XX века. XX съезд КПСС, тайная речь Хрущёва, венгерское восстание, изобретение контейнера. В 60-е контейнеры завоевали море и мир. 60-е годы вообще, может быть, изменили нашу жизнь сильнее, чем какое-либо другое десятилетие. В Гамбурге когда-то, во время экскурсии по гавани – особая и особенная вселенная, исполненная той индустриальной поэзии, которая, почему не признаться, волнует моё сердце едва ли не сильнее клейких листиков, прозрачных листочков, даже чёрных веточек на ветру, – я был поражён, узнав, что контейнер появился так поздно. Его придумал американец по имени Малком Перселл Маклин (Malcolm Purcell McLean, 1913–2001), простой хозяин перевозчицкой фирмы, которому надоело смотреть, как грузчики тащат в трюм и из трюма ящики и тюки, каждый сам по себе. Это правда грустно и глупо выглядит в старых фильмах. Как многие великие мысли, его идея отличалась исключительной простотой. Имеем корабль, имеем грузовик. Грузовик привозит в гавань – неважно что именно, – вопрос: как перенести это неважно-что-именно с грузовика на корабль? Ответ: а не надо, чёрт возьми, таскать по отдельности каждый мешок с зерном или ящик с фарфором, а надо поставить подъёмный кран и перенести весь кузов грузовика целиком, на него поставить кузов другого грузовика, и другого грузовика, и ещё другого, и ещё, и ещё – вы, что же, в детстве в кубики не играли? – сразу дело пойдёт бы-

стрей, пойдёт веселей, главное – дешевле выйдет. В 1956 году, прочитал я в интернете, загрузка на корабль вручную одной тонны чего бы то ни было обходилась в 5,86 доллара, с приходом Маклина стала стоить 16 центов (в 36 раз дешевле). Грузчики разорились, глобализация началась. Наверняка это стало возможным благодаря техническим новшествам: машины сильнее, краны мощнее. Но главное всё же – мысль. Не важно, что мы перевозим; отвлечёмся от конкретного груза; сведём любой груз к абстрактным, одинаковым прямоугольным параллелепипедам, которые можно поднять с земли и опустить на корабль – или наоборот – в любом приспособленном для этого порту мира. Это так же просто и поразительно, как чемодан на колёсиках. Смотришь, опять-таки, старые filmy и только диву даёшься, как можно было таскать эти огромные чемоданы, оттягивавшие тебе руку до земли, ломавшие спину, искривлявшие позвоночник, – вместо того, чтобы прикрепить к ним колёсики и, радостно посвистывая, везти за собою? А я ведь сам таскал эти чёртовы чемоданы; хорошо помню их; ещё в первую за границу в 1988 году ездил с таким чемоданом. На фотографиях Малкома Маклина, которые мне удалось найти, это классический американский предприниматель 60-х годов, плотный дяденька с отчётливо-двойным подбородком, в шляпе, в широком тёмном пальто, удовлетворённо улыбающийся на фоне своих контейнерных кранов. Впрочем, Уоллес Стивенс, всю жизнь проработавший в большой страховой фирме, выглядит, без всяких контейнеров, не очень иначе.

## Мир

Мир – это место, где мы себя теряем.

## Мир

То, что я делаю, не имеет к «миру» ни малейшего отношения.

## Мелодии

Знаменитые строки Китса в «Оде к греческой вазе»:

Heard melodies are sweet, but those unheard  
Are sweeter.

Услышанные (или слышимые) мелодии сладки,  
но неслышанные (неслышимые, неслышные, не могущие быть  
услышанными) – слаще.

Мелодии нарисованных свирелей на греческой вазе слаще (нежнее, прекраснее) любой музыки, доступной нашим смертным ушам. Я нашёл несколько русских вариантов этих строк, предложенных известными или не известными мне переводчиками. Наверняка есть ещё переводы, но ограничусь вот этими.

«Звучащей песне слух бывает рад,  
Но духу нужен строй немых созвучий» (А. Парин).

«Напевы, слуху внятны, нежны –  
Но те, неслышные, ещё нежней» (Г. Кружков).

«Нам сладостен услышанный напев,  
Но слаще тот, что недоступен слуху» (И. Лихачев).

«Пропетые мелодии нежны,  
А непропетые — ещё нежнее» (О. Чухонцев; о ужас!).

«Звучания ласкают смертный слух,  
Но музыка немая мне милей» (О. Микушевич).

«Напев звучащий услаждает ухо,  
Но сладостней неслышимая трель» (О. Потапова).

«Рождённые мелодии волшебны,  
Волшебней те, что не коснулись слуха» (Ян Пробштейн).

«Напевы слушать сладко; а мечтать  
О них милей; но пойте вновь, свирели» (В. Комаровский).

Всё это более или менее приемлемо, кроме чудовищного «пропетые – непропетые» Чухонцева, бессмыслицы Парина и милой отсебятины Комаровского. Ближе всего к оригиналу, отчётливей и точнее всех, наверное, Григорий Кружков. Но дело, конечно, не в переводах, а в том, что я больше не согласен с самой этой мыслью, не пленён и не очарован ею, как очарован был в молодости. Неслышимое, невидимое, недостижимое, идеальное, всего-лишь-возможное, воображаемое, только-задуманное, не осуществлённое, неосуществимое, невоплотимое... всё это больше не убеждает меня. Да и нет никаких таких идеальных мелодий. Мелодии, никем не услышанные, конечно, возможны; возможны среди них и прекраснейшие, как возможны «неведомые шедевры», великие книги, затерянные в пыльных библиотеках или ждущие своего часа у букинистов (как ждал своего часа потрясающий роман Леонида Цыпкина «Лето в Бадене» – один из лучших романов последних десятилетий, – случайно найденный Сюзан Зонтаг на лондонском книжном развале); но речь явно идёт не о них (вот почему противопоставление «пропетых» и «непропетых» мелодий не только фонетически отвратительно, но и совершенно не передаёт смысл сказанного Китсом); речь идёт о тех звуках, которых услышать нельзя вообще – по крайней мере, здесь, в земной жизни, чувственным ухом и слухом. Китс прямо и говорит это в следующих строках, предлагая мягким свирелям (soft pipes) играть не чувственному уху (the sensual ear), но дудеть для самого духа (pipe to the spirit) беззвучные напевы (или просто: песенки; ditties of no tone).

В эти беззвучные песенки не верю я ни на грош – разумеется, потому что перестал верить – нет, никогда и не верил, но перестал верить в возможность поверить – в то, что Ницше так язвительно называл «задним миром», Hinterwelt, в невидимый мир позади нашего мира – здешнего, зримого, звучного. Здесь, в мире звучном и зримом, слышимые мелодии не просто слаще неслышимых, но никаких неслышимых мелодий вообще нет; в лучшем случае это только возможность, зародыш замысла, первый намёк на будущие звуки, грядущие песни. Сказанное всегда интересней несказанного, тем более – несказанного. Несказан-

ное – фикция, а сказанное – сказано. Иногда навсегда сказано. Даже у Блока с его мутным преклонением перед несказанным есть навсегда сказанные строки. Их не очень много, но они есть. Ночь, улица... все их помнят. Только их и помнят, только они и живы.

Неправда, что замысел больше, глубже, интересней, «богаче» своего осуществления. Так думал и Шелли; кто из романтиков так не думал? «Когда Поэт начинает сочинять, вдохновение находится уже на ущербе, и величайшие создания поэзии, известные миру, являются, вероятно, лишь слабой тенью первоначального замысла Поэта». Ну да, мы знаем, «только отблеск, только тени от незримого очами» и так далее и так далее. В сущности, это всё та же – старая, древняя, «вечная», на мой взгляд и вкус: невыносимая более – платоновская мифологема: «идея вещи» совершеннее, чем «сама вещь»; сама вещь – лишь искажённое её отражение. Ничего подобного. Идея – это *всего лишь* идея; замысел – *всего лишь* замысел, *только* набросок; бледная, бесплотная схема. Возможность, зародыш. Зародыш – комочек плоти. Интересен, извините меня, не зародыш; интересен взрослый, мыслящий, состоявшийся, *сказавший себя* человек. Замысел не просто обретает реальность при своём воплощении, но в нём открывается неожиданное, непредвиденное, непредсказанное, непредсказуемое. Сколько всего начинаешь понимать и видеть, когда действительно пишешь книгу. Не задумываешь, но действительно её пишешь. Она оказывается умнее тебя самого. Вот это и есть «чудо», если воспользоваться словечком из лексикона поклонников несказанного. «Чудо» это именно то, что в замысле не присутствовало, что появилось – и проявилось – в процессе самого писания. Наша будто бы неспособность высказать «самое главное» – романтическая выдумка. Нет, наша способность высказать гораздо – несоизмеримо – больше того, что мы предполагали высказать, собирались сказать, – вот это и есть «самое главное», в этом – и только в этом всё дело.

## Мысль молодости

Так в тексте, так в жизни. Удачная или прекрасная жизнь (une belle vie) – это молодая мысль (или мысль молодости: une pensée de la jeunesse), осуществлённая в зрелости (réalisée dans l'âge mûr), говорил Альфред де Виньи (не знаю, где именно; вычитал это в дневниках Андре Жида, утверждавшего, что делает эту фразу своей собственной – cette phrase, je la fais mienne, – так она ему нравилась, ему соответствовала). Вспоминаешь маркиза Позу: «Скажите принцу, чтоб и зрелым мужем былым мечтам он оставался верен» (в русском переводе; у Шиллера сложнее и тоньше: Sagen Sie ihm, daß er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird; то есть речь идёт даже не о верности, но об уважении, почтении – Achtung – к мечтам молодости). Эти строки Шиллера любил цитировать Томас Манн. Да кто только не говорил этого? Шопенгауэр к тридцати годам закончил первый том «Мира...»; потом только дописывал. Его главные мысли, собственно – одна главная мысль, как он сам утверждает, для высказывания которой ему понадобились два тома, в четырёх частях каждый, – эта главная мысль пришла к нему двадцати-с-чем-то-летнему. А «Фауст», а «Вильгельм Мейстер» с их прообразами, «Пра-Фаустом» и «Театраль-



ным призванием»? А Маргерит Юрсенар, в ранней молодости задумавшая и роман об Адриане, и роман об алхимике? Примеров множество, только начни вспоминать... Не сравниваю себя ни с кем из только что названных, а всё же и мои важнейшие мысли, лучшие замыслы пришли ко мне в юности; того более: лет в двадцать я нашёл что-то вроде «главной темы» своей жизни – или наоборот, «жизнь нашла свою тему», как я писал в «Максе», – тему, для изложения которой, впрочем – в сплетении и взаимодействии с другими темами, иными мотивами – мне тоже понадобились все мои сочинения, уже написанные и даже ещё не написанные. Всё это так... И всё же это не так, не совсем так. В жизни, как и в тексте, есть неожиданное, непредсказуемое. Это самое в ней удивительное. Есть поздние или относительно поздние тексты, не восходящие ни к каким юношеским мыслям и замыслам. Допускаю, что Набокова ещё в молодости мучили и блазили нимфетки – это видно и по «Камере обскура», и по невероятному стихотворению «Лилит», – всё-таки нужен был опыт американской жизни, американских дорог и мотелей, американской подростковой пошлости, чтобы написать «Лолиту». И одиноким изгнанным королём – Solus rex'ом – он тоже, судя по всему, начал чувствовать себя очень рано, но, опять же, нужен был опыт Америки, американских колледжей, кампусов – и опыт комментирования «Евгения Онегина», чтобы написать «Бледный огонь». И да, есть прообраз «Фауста», прообраз «Годов учения», но «Избирательное сродство» задумано Гёте в ту пору его жизни, когда «годы учения», вместе с «годами странствий», давным-давно канули в прошлое. И так далее, примеры можно множить и множить...

## Монастырь

В монастыре всё расписано по часам и минутам; любое действие имеет название. Парадоксальным образом это сближает монастырь с его противоположностью – с борделем. В борделе тоже любое действие – и клиента, и дамы – имеет своё название и, как правило, заранее определённую цену. Крайности всегда сходятся. Предпочитаю бордель.

## Мир

Мир – текст, который мы читаем. Или мир – текст, который мы пишем. Принципиальная разница. Революция сознания. Я пишу, а не читаю текст мира. Уже написанного текста не существует. Он создаётся впервые. Это я его создаю.

## Мир

Мир телефонов с диском и пишущих машинок. Мой мир, которого больше нет.

## Мода

Модный философ? Модными бывают портнихи.

## Мысль

Ничто так не вредит мысли, как глубокомыслие.

## Мокрый асфальт

И в мокром асфальте поэт  
Захочет, так счастье находит.

Всякий раз, как смотрю на мокрые мостовые, вспоминаю эти строки Анненского, совершенно волшебные – и как будто прорывающиеся после долгих, довольно невнятных, скажем честно, скорее не запоминающихся стихов. Они всё тянутся, тянутся, эти смутные стихи, – и вот вдруг взрываются финальными строчками, написанными – почти уверен – прежде всего остального. Да, и в мокром асфальте. Или в сухом, или в пыльном. Счастье можно найти в чём угодно, несчастье тоже. Дерево у дороги – и вот ты уже утешен. Или вот снимешь с полки этот синий том Анненского из так называемой «Библиотеки поэта» (Ленинград, 1959 год) – и, если захочешь, найдёшь в нём своё счастье, в нём самом, ещё даже не открывая его. У него на обложке, в верхнем левом углу, есть маленькая складка, под острым углом к краю; полоска, бороздка, крошечный книжный брак. Мне было лет шестнадцать, я думаю; я читал стихи не просто так, но – впервые; впервые открывая для себя всё это (и Анненского, и Ахматову, и Мандельштама); ближайшая подруга моей мамы, «тётя» (смешно и страшно звучит теперь это «тётя», спустя целую жизнь, целую вечность; но в шестнадцать лет я именно так называл её, как называл и в шесть, и в одиннадцать) – «тётя Инна» давала мне, втайне от мужа, скучнейшего, зануднейшего старого профессора, скупого рыцаря библиомании, разные, всё же не самые ценные (не подшивки «Весов» и не разрозненные номера «Аполлона») книги из его драгоценного собрания, к которым ей, кажется, и прикасаться было запрещено. Однако, она прикасалась. Для неё это была отдушина. У меня есть, среди немногих библиографических редкостей, которые вообще у меня сохранились, Пастернак 1933 года («Издательство писателей в Ленинграде», с портретом набывчившегося автора работы Яр-Кравченко и с ещё не приглаженными ранними текстами – от приглажки, впрочем, лучше не ставшими). Там две надписи на форзаце; первая, фиолетовыми чернилами, отчётливым и очень личным почерком моей мамы: «Инка, мне хочется сделать тебе приятное. Наташа. 15/I-45». И вторая, шариковой ручкой, почерком вечно ученическим, смешно школьным для университетской дамы, которой была в ту пору дарительница: «Алёша! А мне хочется сделать приятное тебе! т. Инна. 8.III.1977». Сколько, опять-таки, жизней и вечностей прошло между этими датами. И война закончилась, и усатый упырь подох, и оттепель обвалилась...

Издание же Анненского было дано на время, втайне от мужа, в том же, наверное, 1977 году, – но я так им увлёкся, что попробовал раздобыть свой собственный экземпляр. А это, как некоторые помнят, было тогда непросто. По счастью, существовал институт «чернокнижников», или «книжных жуков», мелких жуликов, круживших с книгами по Москве, способных, разумеется, купить, продать и перепродать, делая свой «навар», что угодно. Другой экземпляр Анненского появился. Никакой складочки на нём не было. Я его и отдал «тёте Инне», наде-

ясь, что ни она, ни, главное, её муж не заметят подмены. Я полюбил уже тот первый, со складочкой. Он и сохранился у меня, после всех потерь, всех переездов. Тогда ещё верил я в тайные знаки. С тех пор разуверился.

## Монгольфьер

Монгольфьер моего отчаяния, готовый опять взлететь.

## Молчание

Неправда, что внутреннее молчание достигается отсутствием мыслей. Ясная мысль тоже создаёт молчание вокруг себя, внутренний покой, тишину в душе.

## Мудрость

28 декабря 1965 года Эмиль Чоран записывает в своём дневнике (а дневники, или тетради, Cahiers, Чорана – это, на мой взгляд, едва ли не самое у него интересное, вообще одна из, на мой взгляд, интереснейших книг, какие есть на земле, на французском; с ними связана отдельная детективная история, которую расскажу в другой раз); так вот, запись такая: «Я провёл всё последнее время за чтением книг по дзену, до пресыщения. Теперь, после соблазна, опять отвлечение к мудрости: я снова падаю в себя самого. Очень кстати. Мудрость – это не мой путь». Конечно, к чёрту мудрость, хочется крикнуть. Le dégoût de la sagesse... как мне это знакомо. Мудрец? Упаси Боже. Бунтарь: вот кто мне нравится. Человек бунтующий, l'homme révolté. Между прочим, Камю и Чоран не полюбили друг друга, не сошлись ни характером, ни мыслями, ни той внутренней интонацией, которая только и позволяет двум, даже очень разным людям, поладить друг с другом. Чоран очень смешно рассказывает об их единственной встрече в одном позднем интервью. Камю, прочитавший первую французскую книгу Чорана «Трактат о разложении основ» (как обычно переводят на русский Précis de décomposition), будто бы сказал ему, со снисходительным высокомерием: ну вот, теперь вам надо вступить в циркуляцию идей (перевожу буквально: maintenant, il faut que vous entriez dans la circulation des idées). Что за циркуляция идей такая? Распространение идей? Обмен мнениями? Чоран, в том позднем интервью, чуть матом не ругается, рассказывая об этом. Он мне смеет говорить, что я должен вступить в циркуляцию идей. Он, Камю, – мне, Чорану. Он был невежда, этот Камю, он прочёл четыре книги, у него не было философской культуры, вообще никакой, у него были знания школьного учителя. И он смеет говорить мне – как ученику, – что я должен вступить в circulation des idées. Много раз, возмущённо жестикулируя, повторяет он, Чоран, это странное выражение – circulation des idées. Видно, запала ему в душу эта circulation des idées. Всё-таки, скажу честно, при всем моём интересе к Чорану, я Камю на него не сменял бы, пусть хоть сама circulation des idées провалится в тартарары.

## Место действия

Что ни говорите, а есть роковая неправильность в книгах, действие которых происходит не в Париже. Ну как это так: книга – а действие не в Париже? Недоразумение какое-то...

## Мои будущие книги

Для читателя, если он у меня вообще есть, я – автор такой-то и такой-то книги, может быть – таких-то книг и таких-то, если он знаком не с одной, а с двумя, допустим, или с тремя. Но для себя самого я – в гораздо большей степени – автор книг ещё не написанных, уже начатых, но ещё не доведённых до конца, или только задуманных, или даже ещё не задуманных, ещё не ведомых мне самому. Опять же эти ещё не написанные книги в гораздо большей степени – мои, чем уже завершённые, уже от меня отделившиеся. Прав был Новалис, говоривший, что законченное произведение отступает от своего создателя на расстояние пространственно неизмеримое и что художник принадлежит своему произведению, а не произведение – художнику. Да, у моих законченных книг должен быть какой-то автор, какое-то имя должно стоять на обложке. Считается, что это – я, но это уже не я, не совсем я, только отчасти – и не от самой важной для меня части – я. Я – это моё прошлое, читатель его знает или может знать, благодаря моим книгам. Но в не меньшей, если не в большей, мере я – это моё будущее, мои замыслы, моя жизнь как замысел, как «проект». Этого будущего читатель не знает и не может знать, его только я один знаю, один вижу, да и то не очень отчётливо. Следовательно, читая меня, читатель читает, в сущности, не меня, а кого-то другого, лишённого того важнейшего, что делает меня – мной. Когда я умру, это, конечно, изменится.

## Мораль эпохи

Не право на наслаждение, но обязанность наслаждаться. «Для того и живём, чтобы срывать цветы удовольствия». Обязанность быть счастливым, наслаждаться каждым мгновением жизни. Счастье записано в программу. Поэтому все так несчастны. Депрессия – основное понятие нашего ничтожного времени. Человек вообще так устроен (см. «Записки из подполья»). Пошлёт к чёрту любой хрустальный дворец, лишь бы по своей глупой воле пожить. Если эпоха от него требует, и он сам от себя требует, быть – каким? – счастливым, то он будет – каким? – несчастным. Несчастливым беспросветно, непоправимо, именно что в каждое мгновение, даже мгновеньице своей жалкой жизни, которым якобы надлежит ему наслаждаться. Он бы и рад наслаждаться, да никак у него не выходит. Ещё смеют, сволочи, ссылаться на дзен-буддистское *здесь-и-сейчас*. Пессимизм буддизма забыт, словно его и не было. Четыре Благородные Истины, из которых первая гласит, что жизнь – это страдание, или, как переводят некоторые, неудовлетворённое беспокойство (дукха), не забыты, а просто неведомы некому. Какое ещё беспокойство? Ах, неудовлетворённое. Всё глупости, ну-ка немедленно успокойтесь, удовлетворитесь тем, что имеете, прямо сейчас, сосредоточьтесь на дыхательных упражнениях, делайте йогу, примите свою жизнь такой, какая она у вас есть, помните, что жизнь всегда прекрасна, во всех своих проявлениях, что солнце светит, а если не светит, то и дождь сгодится, главное – запишитесь на наш семинар медитации для менеджеров, наш курс правильного питания, в нашу школу расслабления, внимания и цветной фотографии, – и вы не только будете счастливы, но вы ещё и зарабатывать будете по тысячи баксов в неде-

лю (или в день, всё равно), и купите себе виллу на Лазурном берегу, и доживёте до ста двадцати лет, в окружении тибетских монахов, голливудских знаменитостей и долголягих любовниц. Буддизм, иными словами, сделался частью Wellness-веры, успешнейшей из трав и вер современного мира. Но ничего не помогает, конечно; помогают только антидепрессанты, да и они помогают так себе, через пень-колоду, без настоящего огонька, без энтузиазма, не то что соцсоревнование между лагпунктами. При лагпунктах антидепрессанты не требовались. Но и наслаждаться каждым мгновением жизни в окрестностях Магадана никто никого, конечно, не призывал.

## Муму

М. рассказывал мне, в глухое советское время, что побывал на конгрессе логопедов, где в буфете не продавалось ничего, кроме конфет под завлекательным названием «Муму». На конгрессе логопедов! И никто не чувствовал юмора. Ладно, буфетчица. Даже коллеги, которым он пытался напомнить, что и у героя бессмертной повести были проблемы с речью, смотрели на него совершенно непонимающими глазами, чистыми, как тот пруд (или это был не пруд? лень проверять), в котором дюжий Герасим утопил несчастную собачонку. А конфеты «Муму» в России делают до сих пор. Литературная страна, что тут скажешь.

## Мантра

Если мантра, то – *ом мани падме хум*. Она помогает, это правда. В минуту жизни трудную просто повторяешь про себя – не молитву – кому молиться? – но эту древнюю формулу, которая тем замечательна, что ничего – по крайней мере, для тебя – не значит, но всё-таки помогает, всё-таки действует. *Ом мани падме хум...* Эти слова восходят к бодхисатве Аволакитешваре, «бодхисатве милосердия»; в книге одного индийского, не буддистского, жившего, впрочем, в Америке, учителя медитации, переводчика (с комментариями, как оно и положено) разных сакральных текстов («Бхагавад-гита» стоит у меня на полке в его версии, переведённой с английского на немецкий) и вообще замечательного человека – слово «гуру» произносить всё же не хочется: слишком уж хорошо я помню позднее советское время, когда у каждой маникюрщицы в Москве был свой «гуру», чёрт бы их всех побрал, – так вот, в книге этого автора, называемого по-русски Экнатх Ишваран, по-английски и, соответственно, по-немецки Eknath Easwaran, – книге, которую я читал очень часто и очень внимательно в начале моей германской жизни, то есть теперь уже более тридцати лет тому назад, – есть чудный образ, показывающий, как «работает» (любая, не только эта; но мне только эта нравится) мантра. «По улице слона водили». Конечно, наш мастер медитации о Крылове не слыхивал, а рассказывает он что-то похожее. В Индии, он рассказывает, по большим праздникам водят по улицам большого, разукрашенного слона; все радуются; музыканты в барабаны бьют, в дудки дудят, на цимбалах играют. Одна беда: лотки с фруктами, бананами, кокосовыми орехами, всевозможными сладостями то и дело встречаются слону на его славном пути, а слон не меньше нас с вами любит всё это, как легко догадаться. И как же ему, слону, не хватить своим хоботом то гроздь бананов, то связку сушёных фруктов,

то ещё что-нибудь, возбуждающее его, слона, немаленький аппетит? Попробуй ему помешай. Потому погонщик даёт ему (просит его, по утверждению автора) нести в хоботе бамбуковую палку. Слон не понимает, зачем её нужно нести, но делает это из (как утверждает, опять-таки, автор) любви к своему погонщику (тут лёгкие сомнения закрадываются в наши скептические сердца). Во всяком случае слон торжественно пронесёт в хоботе палку, и торговцы не терпят убытка. Наше сознание подобно слоновьему хоботу, оно тоже кидается туда и сюда, от впечатлений к воспоминаниям, от надежд к сожалениям, от слов к картинкам и от картинок к словам. Редко-редко мы при этом что-то действительно думаем. Как правило, мы пребываем в том смутно-рассеянном состоянии, в котором (добавлю я от себя) наша жизнь, собственно, и проходит (не замеченная нами самими). Мантра, пишет Ишваран, как раз и служит для нашего сознания такой бамбуковой палкой, не позволяющей ему кидаться туда и сюда, за первым же всплывшим в нём воспоминанием, или желанием, или обрывком воображаемого диалога, незавершенного спора, или бананом, или кокосом.

Всё это замечательно (*ом мани падме хум*). Это замечательно, как техника для ума (или упражнение для души). Но *мистика всеединства*, стоящая за всем этим, совершенно для меня неприемлема; о ней в другой раз.

## Мировоззрение

В юности две подружки – М. и Г. – мне рассказывали, как ещё школьницами писали бесконечную книгу под патетическим названием «Мировоззрение» (с одним «з»). Сами, помню, смеялись – такие, мол, дуры были – «Мировоззрение»! Я тоже с ними смеялся. А это был рассказ пророческий, для меня. Так ведь всю жизнь и пишешь одну большую книгу «Мировоззрение». С одним «з» или с двумя «з» – в сущности уже всё равно.

## Маска

Вот стихи, написанные году, наверное, в 2001-м, причём написанные – хорошо это помню – во время какого-то, прости Господи, совещания в Регенсбургском университете по поводу какого-то, прости Господи, проекта, под который, объединившись, разные баварские университеты надеялись получить, и в конце концов получили, какие-то деньги, позволившие дать нескольким бездельникам, вроде меня самого, хотя бы временную, хотя бы «на полставки» работу. Рабочие места в университетах наперечёт; иногда кажется, что их и вовсе не существует. Поэтому университеты начинают выдумывать исследовательские программы, будто бы очень важные для страны, Европы и всего просвещённого человечества. И вот сидишь на совещании, понимаешь, что тебя интересуют во всём этом только деньги, но стараешься сделать серьёзное лицо, умный вид. Этот умный вид на себя натягиваешь как маску. Регенсбургский университет – бетонный, безнадежно-тоскливый; бывают, впрочем, ещё более тоскливые, например – Майнцский, но о нём я тогда и не слыхивал, даже и подумать не мог, какую роль ему суждено сыграть в моей жизни. Помню дождь за окном, рваное и хмурое небо над беспросветными стенами. В окно я, разумеется, и смотрел, стараясь себя не выдать, сохранить умный вид. Маска, если долго носить её, прирастает

к лицу. Я вдруг вообразил себе, как она действительно прирастает к лицу, вообразил себе какого-то, что ли, актёра, собравшегося играть в спектакле, где все – в масках, вообразил себе – себя в роли этого актёра, примиряющего маску в гримёрной. Почему я сделал из этих стихов сонет, я не помню. Может быть, просто от отчаяния и со злости. Никто уже не пишет сонетов, ну так вот я напишу, – и пропадите вы пропадом с вашими программами и проектами.

В тот вечер, одеваясь для спектакля,  
он думал о вакансиях, о том,  
что скоро осень... И одевшись, как для  
спектакля одевался он, с лицом

ещё открытым, в брызжах, в голубом  
плаще, помедлил, проверяя, так ли  
оделся он, у зеркала. Потом,  
надевши маску... Нет! Как вдруг иссякли

все силы, как всё рухнуло, как в крик  
кричал и бился он, её срывая...  
И как не верил после, что другая

была когда-то жизнь и что он сам  
когда-то был. И счёт терял годам.  
Под маскою давно уже старик.

Разумеется, я никогда не печатал эти стихи. Года через два, страшно жарким летом 2003-го, мне вдруг удалось написать несколько стихотворений в для меня самого неожиданной манере – отчётливо ритмизированным верлибром, – с отчётливым ощущением наконец-то обретённого *своего голоса*, – так что уж и речи не было о возврате к этим отброшенным в прошлое опытам; лет ещё примерно через семь стихи меня снова оставили, но *свой голос* плавно переместился в прозу. Понемногу начало покидать меня и это ужасное чувство, что я проживаю чью-то чужую жизнь, под уже несдираемой маской. Я всё-таки содрал её; нельзя сказать, что и вовсе отбросил, разорвал, растоптал, как мне бы хотелось, но к лицу она больше не прилипает. А это чувство и вправду ужасное, одно из самых унижительных чувств на свете; в сущности, чувство предательства себя самого, своего жизненного «проекта». Мы все идём на компромиссы, к нашему собственному несчастью; мало кто ухитряется, как Чоран, прожить жизнь в парижской мансарде, не проработав ни одного дня нигде, никогда, ни разу не сходяв ни на какую идиотскую службу, не потеряв ни единого часа ни на каком кретиническом собрании, совещании.

## Метафоры времени

Эпиграфом к «Остановленному миру» я поставил слова Догена Дзендзи (одного из важнейших персонажей японского дзен-буддизма, 1200–1253): «Время течёт из настоящего в прошлое». Как же я их понимаю, спросила меня в одном интервью одна замечательная собеседница. А как я их понимаю? Я, может быть,

вообще никак их не понимаю. Они влекут меня, может быть, самой загадочностью своей. «Время течёт из настоящего в прошлое». Это метафора, разумеется. Мы же не знаем, как мыслить время, поэтому мыслим его привычными для нас пространственными метафорами (у Бергсона сказаны на сей счёт важнейшие вещи). Пространство у нас перед глазами, а время – где оно? как к нему подступиться? Наша излюбленная метафора – река. «Река времён в своём стремлении...» и так далее и так далее. Нам кажется, что река течёт в будущее, а события нашей жизни остаются на берегу, давние – далеко, недавние – близко, что, уносимые течением, мы уплываем прочь от них, уплываем и уплываем. То, что с нами было год назад, скрылось уже за излучиной, то, что было вчера, можно ещё увидеть, если на плаву оглянуться. А если перевернуть метафору? События нашей жизни – это не что-то на берегу, мимо чего мы проплываем, как проплывали бы мимо кустов, мостков, стирающих бельё баб, но события нашей жизни – это и есть сама река. Ведь эти события случаются с нами, не с кем-нибудь. Бог с ними, с берегами, не в них вообще дело. Река времени течёт в другую сторону. То, что было год назад, уплыло от нас дальше в прошлое, чем то, что было вчера. Мы как бы и не движемся, мы пребываем в настоящем, хотя и неуловимом, *сейчас*, мгновение за мгновением уплывающем от нас в прошлое. Мы не плывём, мы держимся на воде. Мы ложимся, может быть, на спину, видим небо, видим облака, видим ветви ветел, нависшие над водою. А время, протекая сквозь нас, превращаясь из настоящего в прошлое, – проходит, уходит, относит и события, с нами случившиеся, и наши поступки, и наши мысли, и наши чувства от нас самих всё дальше, дальше и дальше... Первый взгляд нам привычнее, как будто естественнее. Второй – интереснее, парадоксальнее и если не ближе к истине (и то, и другое, повторяю, – метафоры), то, по крайней мере, скорее позволяет нам понять, что наша жизнь и вправду – наша, не что-то внешнее, что происходит на берегу, куда мы барахтаемся в воде, но что это и есть – мы сами.

## Маркс

В конце жизни Маркс сбрил свою бороду. Сбрил и умер. Ясное дело – вся сила была у него в бороде.

## Мгновение

Цитата из пьесы театра *Но* в дневниках Филиппа Жакоте: *À cette asile d'un instant n'attachez pas votre coeur*. Не привязывайтесь сердцем к этому временному пристанищу. Но хочется прочесть не буквально. Не привязывайтесь сердцем к этому убежищу мгновения. *Asile d'un instant*: минутное, мгновенное, очень временное, очень краткое прибежище, или пристанище, какой-то дом, где-то в горах, какая-нибудь горная хижина. Но можно всё-таки прочесть не буквально. *Убежище мгновения*... Не привязывайтесь сердцем к преходящему, говорит нам весь буддизм, весь Восток, да и не только Восток, не только буддизм. Это убежище – иллюзорно; это мгновение – гаснет, тает, умирает у нас на глазах. Не держитесь за него, отпустите его. А почему, собственно? Да, всё проходит, *преходит*, исчезает, скоро исчезнет, вот этот свет, эти пятна солнца в аллее, где я сижу сейчас, в Венсенском лесу, эта пыль, голоса за деревьями, спортивная тётка в марсиан-

ском костюме, смолисто-чёрная ворона, прыгающая в сторону мусорной урны. Всё проходит; разве это причина для не-любви? Трёх из тех, кого я больше всего любил и люблю на земле, уже нет; ну и что с того? Привязывайтесь к преходящему! Вы будете страдать, но вы будете живым, а не мёртвым. А в буддизме, особенно в дзене, но, наверное, и не только в дзене, непрерывно, из текста в текст, из одного комментария к одному коану в другой комментарий к другому, предлагается – прямо сейчас – умереть, чтобы – прямо сейчас – быть свободным. Вот и Мейстер Экхарт, которого не зря же вновь и снова сравнивают с восточными мистиками, говорит, что мы должны так жить, словно мы уже умерли, чтобы ни любовь, ни страдание (weder Lieb noch Leid) нас не затрагивали. Любая религия, в конце концов, есть религия смерти, религия мертвецов... Я не даю этой мысли укрепиться во мне; я ухожу. Над стеной и башнями замка стоит синее облако, за ним стоит вечернее солнце, кромка облака сияет, выбрасывая в небо ясно зримые, почти осязаемые серебряные лучи. Оно всё помещается в вырезе, образованном башенкой стены и коньком дальней крыши, это облако, в убежище мгновения, в котором ненадолго, но всё-таки дано ему задержаться.

## Майнц

Старик, читающий Гёльдерлина; вчера; на мгновение это меня утешило. Он сидел возле нового, скучнейшего и пошлейшего, «торгового центра» в Майнце, возле университета (место, которое я ненавижу, как всё ненавижу в этом Майнце, этом Висбадене); напротив серого стадиона (сплошной задней стены стадиона, из каких-то, что ли, алюминиевых реек, с редкими рекламными пятнами: покупайте наш йогурт, фирма «Мюллер» вас не обманет). Мир, который кажется отчуждённым и оторванным от всего на свете; дальше от поэзии, чем любое другое место. Любая помойка поэтичнее этих убогих, безликих, бетонно-стеклянных окраин. Он не в Английском саду в Мюнхене читал Гёльдерлина, не в Гейдельберге, не в Тюбингене у знаменитой башни, но вот здесь, возле автошколы, гастронома Edeka, турецкого и не-турецкого кафе, парикмахерской (где работают русские немки; стригут чудовищно), булочной и аптеки. Сидел на приступочке, седой и плешивый; в клетчатой ковбойке и светлых штанах; рюкзак стоял рядом с ним. Большая тёмная книга с надписью Hölderlin на обложке, готическим шрифтом. Мне хотелось заговорить с ним; я не решился. Лицо было опущено в текст, только нос торчал, красным клубнем. И нет, я никогда не мог вполне полюбить Гёльдерлина; всегда мешали мне его патетика, его патриотизм (слово, с тех пор ставшее бранным, ставшее рвотным), его торжественная серьёзность, отсутствие иронии, тем более юмора. Но дело не в этом. Всё равно приветствую тебя, мой брат, седой и плешивый, соратник, союзник мой в борьбе с пошлостью жизни, безмыслием бытия.

## Мудрость веков

Её нет. Philosophia perennis – иллюзия чистейшей воды. Романтическая вера в какую-то мудрость каких-то древних людей есть лишь отголосок мифа о золотом веке, более ничего. Когда-то жили мудрейшие люди, обладавшие сокровенным знанием. Этому нет ни малейших доказательств. Когда-то жили дикари,

не обладавшие вообще никаким знанием. Они верили в трёх китов, или в трёх черепаках, или в гермафродитов, или в гипербореев, и нам совершенно нечему у них учиться. Надо самим думать, своими слабыми силами.

## Муза

У одного американского поэта – Вильяма Мервина (William Stanley Merwin: имя словно из саги) есть стихотворение о другом американском поэте Джоне Берримене (John Berryman: имя как из романа); оно так и называется «Берримен». Попробую перевести хотя бы начальные (четыре) и заключительные (две) строфы.

Я скажу вам, что он сказал мне  
сразу после войны  
как мы тогда называли  
вторую мировую войну

не теряй надменности он сказал  
ты можешь потерять её когда станешь старше  
потеряешь её слишком рано  
просто сменяешь её на тщеславие

только однажды он предложил  
изменить обычный порядок слов  
в стихотворной строчке  
зачем два раза говорить об одном и том же

он предложил мне помолиться Музе  
встать на колени и помолиться  
вот здесь в углу он сказал  
что понимает это буквально

...

я только начал читать стихи  
я спросил его как можно быть уверенным  
что написанное тобою чего-то стоит  
он ответил что уверенным быть нельзя

уверенным быть нельзя ты не можешь  
быть уверенным ты умрёшь не узнав  
стоило ли написанное тобой хоть чего-то  
если тебе нужна уверенность не пиши

Мне здесь всё нравится (кроме отсутствующей пунктуации, разумеется). Идея встать в углу на колени и помолиться Музе просто прекрасна (я пробовал; действительно: помогает; важно только, чтобы никто не подсматривал; поди потом доказывай, что ты не окончательно рехнулся). Не менее прекрасен финал. Да, уверенным быть нельзя; не только нельзя быть уверенным в ценности то-

го, что ты пишешь, – если можно, то лишь на мгновение, на ай-да-сукин-сын, – но вообще ни в чём нельзя быть уверенным. Если тебе нужна уверенность, не пиши, по мере сил, и не думай; лучше сразу обратиться в какую-нибудь религию, политическую или просто, уверуй и поглупей (по бессмертному приговору Паскаля). Литература в этом – и в этом – смысле родственна философии, она разрушает самоочевидности. *Exercer l'activité philosophique... c'est perdre le Sens*, «заниматься философией... значит терять Смысл», как говорила Рахиль Беспалова (слова, которые я поставил эпиграфом к «Предместьям мысли» и с удовольствием повторю здесь). Заниматься философией, как и заниматься литературой, значит быть ищущим, не нашедшим, спрашивающим, не отвечающим, знающим о своём незнании, не знающим более ничего.

Кажется, не было в этом – и в этом, опять-таки, – смысле более разных поэтов, чем Берримен и Мервин, притом что второй учился у первого в Принстоне, где тот, видимо, и сказал ему всё то, что мы только что слышали. Берримен принадлежал к поколению послевоенных психопатов; вместе с Робертом Лоуэллом, Сильвией Плат, Энн Секстон, его, бывает, относят (все ярлыки условны) к так называемым «исповедальным поэтам», *confessional poets*, не боявшимся говорить в стихах о своём сумасшествии, своей тяге к самоубийству, своём алкоголизме, своей наркомании, своих сексуальных эксцессах. Действительно, Берримен был безумец, алкоголик, самоубийца. Мервин дожил до девяносто одного года, получил почти все мыслимые почести и награды – Пулитцеровскую премию целых два раза, – был поэтом-лауреатом, как в Америке (и в Англии) называется это, – занимался проблемами экологии, посадил на Гавайях две тысячи деревьев, спасал флору и фауну, жил анахоретом, имел славу «современного Генри Торо». Мало того, он занимался дзен-буддизмом, и на Гавайи уехал, собственно, чтобы поближе быть к своему учителю, своему «роси», Роберту Эйткену (*Robert Aitken*, 1917–2010), замечательному, действительно, человеку, оказавшему, признаться, и на меня, в дзен-буддистскую, теперь уже довольно давнюю пору моей жизни, влияние крупнейшее, не личное, к сожалению, но благодаря своим книгам (*Taking the Path of Zen; Original Dwelling Place*) и благодаря другому своему ученику, даже, кажется, «дхармическому наследнику» (*a dharma heir*; впрочем, я не уверен: «передача дхармы» дело вообще тонкое, сложное), с которым я имел счастье встречаться и разговаривать.

В интернете тьма фотографий Мервина, множество видео с ним и о нём. Мягкие глаза, ласковое лицо обладателя истины. Игры и позы не чувствуется; чувствуется уверенность и спокойствие человека, знающего ответ. Возможно, это иллюзия, и бездны таятся в душе, скелеты в шкафу. Бородач Берримен, алкоголик, психопат и самоубийца, мне всё же милее, ничего не могу поделать. Я верю лишь мыслям тех, кто терпит крушение, говорит Ортега-и-Гассет. Очень правильно говорит. «Если тебе нужна уверенность не пиши». Мервин, кстати, написал страшно много, один только том его *избранного*, стоящий у меня на полке, – громадная книжища в пять с половиной сотен страниц, где стихи идут друг за другом (а не так, чтоб каждое начиналось на отдельной странице, как это часто бывает у менее плодовитых поэтов; если б здесь каждое начиналось на отдельной странице, получилось бы три таких книжищи; и если это только избранное,

то каково же *неизбранное*?). Я их все, разумеется, не прочёл; из всех, что прочёл, стихотворение о Берримене произвело на меня самое сильное впечатление. Не потому ли, что Берримен и говорит в нём, через него? Вообще, есть тексты, живущие отражённым светом. Поклонники Варлама Шаламова осыплют меня проклятиями, но, по-моему, его самый сильный (и, в сущности, не похожий на все остальные) рассказ – «Шерри-бренди», где он пытается представить себе лагерную смерть Мандельштама, изнутри самой этой смерти; и точно так же проклянут меня поклонники Арсения Тарковского за моё признание – но я его всё-таки сделаю, – что лучшим у него мне кажется стихотворение (тоже) о Мандельштаме («Эту книгу мне когда-то в коридоре Госиздата...» и так далее); такое чувство, что Мандельштам просто-напросто поделился с ними частичкой своего гения (добродушный дракон из моего сна запросто мог бы это проделать).

## Мнемозина

«Всё искусство древности, – писал Вячеслав Иванов, – посвящено Памяти; за Аполлоном, предводителем хора Муз, стояла безмолвная вдохновительница – Мнемосина». Именно так – через «с». О древних говорить не буду и Мнемозину через «с» писать тоже не буду. А память – конечно. Память вообще делает человека – человеком, сознание – сознанием. Сознание это и есть память, говорит Бергсон, сохранение и накопление (*accumulation*) прошлого в настоящем. А лучшую формулу человека – не смейтесь! – дал, по-моему, – и, по-моему, ненароком – Давид Самойлов в раннем, очень длинном и точно не самом лучшем своём стихотворении (или поэме – «Сквозь память», так она и называется; часть поэмы «Ближние страны», если уж хотеть быть вполне точным). «Человек – это память и воля», вот эта формула. Память собирает и сохраняет прошлое, превращает настоящее из пустого бессмысленного протекания времени в продолжение всей предшествующей жизни, создаёт единство того, что мы называем личностью, неизменное в изменчивом; воля направляет всё это в будущее, превращает «просто жизнь» в тот внутренний «проект», тот «набросок жизни», который и образует ядро нашей личности, сущность нашего «я» (о чём лучше всех сказал, по-моему, Ортега-и-Гассет, вообще сказавший многое из того, о чём любили говорить в XX веке, – лучше, яснее, проще и раньше других). Кстати, есть эпизод в «Записках об Анне Ахматовой» Лидии Корнеевны Чуковской, где речь идёт именно об этих стихах (или этой поэме, уж как хотите) Давида Самойлова. Л. К. читает их вслух для А. А., причём читает плохо, как ей самой кажется, «заранее мучаясь от того огорчения, какое испытаю, если и эти стихи не понравятся Анне Андреевне». Но стихи понравились, «слава Богу, и даже очень. Она взяла у меня из рук «Москву» и перечла всего Самойлова: отрывок из поэмы и стихи – всё насквозь, глазами. “Хорошо, – сказала она ещё раз. – Слышен поэт. «Постепенно становится мной» это уж и совсем хорошо”». Вот эти строки; с удовольствием приведу их здесь целиком:

Всё хорошее или дурное,  
Всё добытое тяжкой ценой  
Навсегда остаётся со мною,  
Постепенно становится мной:

Всё вобрал я – и пулю, и поле,  
Песню, брань, воркованье ручья...  
Человек – это память и воля.  
Дальше тронемся, память моя!

## Молитва

Бородатый бродяга в бейсбольной кепке, во Франкфурте. Стоит на коленях перед памятником Шиллеру, словно молится. У Шиллера лавровый венок на голове, перо в одной, книга в другой руке. Типичный памятник XIX века, из тех, что ставили «национальным поэтам»; постаментище больше самого памятника. Лицо у «национального поэта», наверняка задуманное вдохновенным, получилось скорей недовольным, симпатичным в своём недовольстве. Похоже, не нравится ему этот Франкфурт со всеми его небоскрёбами, наркоманами, банками, бандитским и проститутским кварталом возле вокзала. Лицо бродяги скрыто кепкой. Он чуть-чуть раскачивается, чуть-чуть даже кланяется. Может, и вправду молится? Кому? Шиллеру? Почему бы, в конце концов, и не Шиллеру? Чем Шиллер хуже прочих богов и мифов? Потом он долго роется в пластиковой сумке, одной из нескольких, которые всегда, верно, носит с собою – всё его достояние, – извлекает оттуда – не зонтик, но отломанную ручку от зонтика, широко замахнувшись, запускает этой ручкой в обтёрханных городских голубей, мирно гулькающих вокруг постамента. Голуби лениво улетают. Бродяга встаёт, подбирает ручку от зонтика, бросает её в других голубей. Другие голуби тоже улетают, тоже с ленцою. Так он обходит памятник, обходит соседнюю с ним лужайку, всё кидая и кидая в голубей ручкой от зонтика; наконец, удаляется, приподняв левую ногу, в сторону вокзала, к своим братьям по разуму и беде. Никто не обращает на него внимания, даже Шиллер; молитвы не действуют; так пускай хоть голуби боятся его. Или он дух святой видел в них? Всё может быть, всё может быть.

## Мыши

В сумерки, за серой, сизой, потом сиреневой тучей – кусок открытого зелёного неба, на краю окоёма. Бесснежный лес, весь в палой прошлогодней листве. Всё идёшь, идёшь, стараешься ни о чём не думать, считаешь выдохи, потом повторяешь мантру, полируешь зеркало своего сознания, как бывшему дзен-буддисту оно и положено. Мама с дочкой идут тебе навстречу; на другой просеке, за тремя поворотами, оказываются вдруг впереди. Теперь ты идёшь вслед за ними, не можешь их обогнать. У дочки, ещё подростка, ножки – такие тростиночки, что делается за неё страшно; у мамы – полные, красивые, сильные ноги в джинсах. Мыши в палой листве, пожухлой траве; их не видишь, только слышишь их шебуршание. Мама с дочкой каждый раз, при всяком шорохе останавливаются, прислушиваясь, высматривая этих мышей. Каждый раз, хотя всё одно и то же, одно и то же. Снова сворачиваешь, обо всём забываешь. Шебуршание мыслей проходит, ненадолго; в чистом зеркале не отражается ничего.

## Музыка

Есть письмо Рильке, где он рассказывает, как, ещё юношей, столкнулся – в почти буквальном смысле – с пожилым полным господином, на австрийском курорте Bad Aussee. Я был тогда никем, просто молодым человеком (*irgendein junger Mensch*), шестнадцати или семнадцати лет, пишет Рильке, и я был в гостях у кузины, с которой мы вместе ужасно скучали. Целый день сидели в саду и скучали... Наконец ему надоело скучать, и он побежал в горы, в свободный, огромный и настоящий мир. Кажется, без шляпы, добавляет он, видимо – чтобы показать меру своего вольнолюбия. Тропинка круто взбиралась вверх, но он этого не замечал, как не заметил бы никакого другого препятствия. Он взял такой разгон, что его действия перестали быть личными; не он бежал, но *ему бежало* (как мы говорим: *смеркалось* или *светлело*, или о грозе: *погромыхивало*). Гроза, действительно, была близко, тучи зловеще густели. Он и этого не замечал; он был охвачен, очевидно, тем элементарным порывом, стихийным вдохновением, какие так свойственны молодости. Навстречу ему спускался в развалку пожилой плотный господин, уже некоторое время, судя по всему, раздумывавший о том, как смягчить столкновение с несущимся вверх сумасшедшим. Избежать этого столкновения было невозможно, учитывая скорость, с которой нёсся один, и неспешную плотность другого. Вдруг, громко бурча, он схватил меня, пишет Рильке, и отвёл в сторону; в ужасе я поднял на него глаза; он казался очень рассерженным. Пару мгновений их взгляды удерживали друг друга; наконец, недовольство спускавшегося с гор господина разрешилось мягким ворчанием, и он предупредил Рильке, что идёт гроза, указывая на тучи у себя за спиной. Рильке так смущён был, что пробормотал лишь что-то невразумительное, и побежал дальше наверх, в грозу и бурю, от которой, как он пишет, уже камни бледнели. Через несколько дней ему показали этого господина на набережной, заодно сообщив, что это – Брамс. Будущий автор «Дуинских элегий» и «Сонетов к Орфею» был счастлив, что создатель «Венгерских танцев» и «Четвёртой симфонии» его не заметил. А я жалею о том, что они не столкнулись. Представить себе, как молоденький узенький Рильке влетает своей такой характерной головою прямо в огромный живот Брамса – какая картина! Но ведь и так это было своего рода причастие. Он почти столкнулся с Брамсом – и дух музыки снизошёл на него, чтобы уже оставаться с ним до конца. Вот бы и нам так, вот бы и нам... ■